

1.

Солнце владело миром.

— Пойду искупаюсь, — сказала Сима, вставая с синей травы. — А ты сторожи здесь, чтоб с того края никто чужой не вышел.

— А мне смотреть можно? — спросил вдогонку Игорь; забавляясь, зная, что можно.

— Гляди, ты не глазливый. И всё равно далеко.

Она лёгкой невесомой щепочкой слетела к ручью на дно балки, сбросила платье. Белые лопатки просияли, как дорогие монетки.

Вошла по колени в слюдяную воду, обернулась, помахала рукой. Игорь поднял фотоаппарат и щёлкнул; шторка в камере прошла взад-вперёд с ворчаньем сонной птицы.

— Не получится! — крикнула Сима, смеясь.

Она не знала, что такое телеобъектив, что он бьёт сильнее снайперской винтовки, и что сейчас в видеоискатель была видна даже розовая родинка возле правого розового сосочка на её маленькой матовой груди.

«Как красива молодость...» — подумал он.

В свои тридцать Игорь считал себя стариком. В тридцать все так считают. Счастливое осознание неуходящей молодости даруется позже — и далеко не каждому.

Ночью он отпечатал большой снимок и завтра подарил ей. Сима посмотрела на себя обнажённую, едва спелую, будто первая черешенка; ничуть не смутилась, но карточку не взяла.

— Как я её дома положу. Дедушка найдёт.

По узкому личику Симы танцевали бледно-золотые конопушки и легко спрыгивали на шею и грудь, и делали всю свою хозяйчку словно бы осыпанной кремовыми блёстками.

— Тогда себе возьму?

— Бери, сам делал... И будешь постоянно глядеть?

— Буду.

Она посмотрела как-то даже жалеючи; веснушки на миг утишили пляску по её щекам и губкам; Сима стала задумчивой и по-настоящему взрослой.

— Плохо тебе станет. Гляди уж лучше на живую. Только не трогай, меня не надо трогать.

— От этого ещё хуже будет, сразу испорчусь, как кипятильник без воды.

— А ты не включайся. Просто смотри, как сейчас; мне нравится, ты приятно смотришь.

И она легко и быстро, по-вчерашнему, разделась, но уже вблизи, на расстоянии вытянутой руки; блеснула под молодым солнечным лучом, улыбнулась просто и ласково.

Затем повернулась и пошла к ручью, чистая, нагая, звонкая, словно подарочный хрусталь.

Это было так дивно, среди этой ластящейся пустоты, среди прогретой зелени.

Сияла середина июня, мир жадно цвёл, исходил истомой.

Игорь приехал в родной Савин через тринадцать лет после детства; хутора не было — как после взрыва.

Вместо былых пятидесяти на краю лога полулежали пять пустых домов, и лишь в крайнем остался дряхлый Никитоня, не помнивший Игоря, да и вообще ничего не помнивший, даже своего имени.

— Чего, Москва? — сказал он в ответ на приветствие. — Бога отдайте.

В памяти Игоря были три весёлых улицы с улыбочивыми дворами; теперь везде зубасто топорщился прошлогодний, ещё не затопленный новой ровной травой бурьян.

Свежая зелень и старая рыжина мешались, как под грубой малярной щёткой, решившей прочно замазать истресканную фреску жизни. Исчезли тёплые жилки тропинок, круглые пятнышки лужаек, тонкие линеечки плетней.

Исчезло всё, что когда-то ежедневно говорило Игорю о чём-то, шептало, ласково смеялось навстречу и легко вздыхало вслед.

От этого было страшновато, словно чьи-то воровские пальцы нашли и вырвали давний дневниковый лист с самой сокровенной записью.

Игорь жалел, что на целых два месяца приехал сюда, хватило всего суток, чтоб сердце замажилось и вновь будто припало пылью. Родное гнездо, изначальный центр мира увиделись на отшибе жизни; ни дороги, ни голоса.

Все хуторяне съехали в райцентр за десять километров, говорить было не с кем, да и не хотелось: хвалиться Игорю нечем, ни с семьёй, ни с работой не ладилось.

К концу лета должно придти письмо из Подмосковья, тамошний приятель обещал исхлопотать место, то ли оформительство в рабочем клубе, то ли фотокорство в заводской газетке.

Да Игорю всё равно, лишь бы декорации сменить, мутно ему везде, вот даже родимые хуторские виды в пару дней вылиняли.

И тут открылось, что дед не один, а с внучкой. Она была на пчельне и вдруг явилась: юная, на юном коне, с юным пёсиком.

Восьмидесятилетний Никитоня сидел на корявой завалинке и бубнил, уставший от его невразумительности Игорь лежал метрах в пяти, за тропкой, на молочном от одуванчиков склоне балки, лежал лицом в небо.

Беззвучный самолёт вверху поочерёдно нанизывал на себя облака — они были как мягкие шарики новогодней ваты, нанизываемые иглой на ловкую белую нить. Небо опоясалось гирляндой — и явился праздник.

Где-то над самым ухом фыркнула коняшка, пискнула собачонка; старческий голос прервался, а вместо него зажурчал голос чистый и знакомый — совсем, совсем из детства. Сколько здесь раньше звенело таких голосов!

Игорь встал.

— Симка моя, — сказал Никитоня, пригибаясь под объятиями внучки.

Сима ластилась к нему преданно и властно; сразу виделось, что она в доме главная, и что она всё тут любит, и всё любит её.

Игорь смотрел неотрывно; Никита заметил, прищурился, погрозил ему сучковатым пальцем:

— Смотри, чтоб... Я вас знаю. Как нам, старым, зелёного огурчика охота укусить, так вам, молодым, всегда охота еться....

Игорь опешил от мутного слова, но Сима только рассмеялась.

Была она, что называется, конфетка. Мальчишьи русые волосы, живой взгляд из-под длинных и красивых, но уже выгоревших ресниц. Семнадцать лет, что тут скажешь. Всё совершенство, до ноготка; любое движение — сюита.

— Я тебя помню, — сказала она, без всякого смущенья заглядывая прямо Игорю в лицо своими широко раскрытыми желтоватыми глазами. — Ты чуть не первый из Савина ушёл.

— Как ты можешь помнить?

— Да. Мне четыре года было, но про тебя долго говорили, и уезжали следом. Вот, теперь одна я тут.

Игорю невольно хотелось отстраниться: так близко смотрела Сима, чуть не с полуметра, и так открыто и доверчиво, словно ручная совка, севшая на запястье.

— Что ж и ты не едешь?

— А дедуся куда? Пусть помрёт сначала.

Никитоня кивнул, заклокотал, забредил:

— Зря ты, Симка, подушку помыла... Не помню теперь бабки. За ней хочу, а живым в гроб не ляжешь...

И убрался в тенистый дом, в тёмный закуток с лежаком, видно, навевающий ему своей тишиной мечты о благословенном погосте.

— Год не давал наволочку с бабушкиной подушки стирать, — объяснила Сима. — А постирала, он голосил. Нет, говорит, теперь бабушкиного последнего запаха, теперь я совсем один.

Сима говорила без диковатости, столь приметной в молодых селянках, и без вертлявости, такой же частой их повадки.

Они сошлись в минуту. Даже не сошлись, а слились, как сливаются две одиночные дождевые капли на стекле; мгновенно, по обоюдному своему притяженью.

Это было не странно, это была природа. Странно было поодиночке в пустом гнезде.

Теперь хутор ожил, обрёл полное дыханье и память, теперь каждый его бугорок можно выверять с высоты сразу двух жизней.

— У тебя осанка принца и взгляд беглеца, — сказала Сима удивительно простыми словами удивительно сложную для юной селянки вещь. — Ты оказался ещё лучше, чем я думала.

— А ты что, думала обо мне? — поразился он.

— Я мечтала, что если кто наведается сюда этим летом, то лучше бы ты. О тебе старшие девчата говорили, что у тебя... сейчас вспомню... сердце есть, вот. Таких мало стало.

— Нет, я теперь не такой, брось, не надо...

Но ему было приятно, и его тянуло слушать её. Даже если бы они были нескладны и хилы, то всё равно прильнули бы друг к дружке.

А они, наоборот, были красивы красотой молодых птиц: крепко облетавшийся зоркий самчик и самочка-слёток, едва успевшая встать на крыло и с первого раза вполне познавшая волшебство лёта.

Им не хватало лишь ободряющей переключки — и вот он раздался, счастливый родственный зов.

Сима не оставила Игоря. Она пошла в его скособоченный дом, столько лет зябший пустым, сноровисто оглядела печь с давно выдохшимся запахом, стол с подгрызанными ножками, кирпичную лежанку; сказала, что сама будет приносить молоко, а хлеб через день привозит почтальонша.

И говорила, говорила; всех хуторян вспомнили и обсудили их житейский путь; это было, оказывается, так нужно и так сладко; все овражки тотчас наполнились жизнью и смыслом.

— Вон по тому склону твой дедушка каждый вечер ходил сторожить ферму, — кивал Игорь на дальний берег лога. — Мне было пять лет, и мне было жутко от того, что человек так медленно и так неостановимо уходит в ночь...

Берег теперь тонул в зарослях сорных кустов. Никаких дорожек, а тем более фермы не виделось, но оба смотрели в пустоту неотрывно, и тепло переглядывались, словно благодаря друг друга за подаренную кроху памяти.

— А видишь на горизонте две берёзы над бугорком? — показывала Сима в сторону заката.

— Их раньше там не было.

— Да, они молодые. Солнце сейчас сядет как раз между ними, и это только на сегодняшней неделе.

Закат разливался по горизонту, словно брусничный сок из пролитой чашки.

— Только на сегодняшней?

— Сейчас неделя самых длинных дней года. Бабушка говорила, что мой жених придёт в эту неделю и от этих берёз, и между ними в этот момент будет садиться красное солнце и освещать его...

— А если жених явится хоть на неделю позже?

— Через неделю закат сдвинется по горизонту обратно и до берёз не дотянет.

— И что?

— И жениха уже не разглядеть в сумраке. А не разглядишь — не встретишь, а не встретишь — он пройдёт и мимо хутора, и мимо судьбы.

Игорь улыбнулся наивной сказке.

— Помню твою бабушку. Она нам про Купалу говорила.

— Если б она не умерла, я бы сейчас в институте училась. У меня школьный аттестат с отличием. А без неё дед, как дитя... Ничего, отучусь.

Они стали ходить на пасеку вдвоём. Верней, вчетвером. Коняшка брела впереди, за ней давал круги пёсик.

Собачка часто оглядывалась, проверяя, на месте ли хозяйка, а та оборачивалась на Игоря, словно тоже боясь потерять его из виду и из своей жизни. Она встречала его взгляд и смеялась — просто так, ни от чего.

У Симы была чудесная улыбка, естественная, открывающая весь ряд ровных светлых зубок. Сима улыбалась всегда, когда говорила и когда молчала; это было редкое свойство.

Игорь уже насмотрелся на насупленных уличных обывателей, да и самого его город сделал неулыбчивым — почти всякого он делает серым и скучным, будто лентфильмовского героя.

Но как вдруг размякает эта подозрительная публика от чьей-то улыбки, беспричинно приветливой, случайно мягкой; как слетает серость с лиц и тянутся души к беззаботному счастливцу...

— Да, Сима, — сказал Игорь, — была бы ты сейчас студенткой, всеми любимой, обожаемой даже престарелыми профессоршами. А вместо этого бродишь здесь по репьям и радуешься первому попавшемуся собеседнику, пусть и молчуну.

Игорь был впрямь не слишком разговорчив. Юношеская жажда откровений давно его покинула.

Он увидел, что мир заполнен пошляками; чем лживей человек, тем ловчей сидит на холке жизни.

Это странное правило практически не знало исключений. Игорь не то что разочаровался — он просто погас, отодвинулся, ему стало многое неинтересно; очень многое, почти всё, даже любовь.

У него, конечно, случались женщины, но и они подчинялись всеобщему закону лжи, коему служили охотно, самозабвенно.

Он не был бабником; женщины не хотели того знать и уловляли его наряду с прочими; им, уверился Игорь, по сути, всё равно, бабник ты или нет.

Им важны твой рост и пост; и при таком перепелином уме они вдвойне расчётливей мужчин; замуж им лучше за должность или хоть бы печатный перстень.

Поначалу искренни и романтичны, метят в жёны декабристов, а уже через полгода им и в трамвае тряско...

Под такие мизантропические мысли — и одновременно под любование Симой, к которой эти мысли никак не ложились, — Игорь приходил на пасеку; она была в дальнем распадке, и обитал там старик с болотным взглядом, ровесник и напарник Никитони.

Теперь Сима подменяла своего резко ослабевшего умом деда, отвозила с пасеки на центральную усадьбу медовые фляги, привозила разную пчелиную снедь и утварь.

Упрямого гнедого коняшку, чтоб не тревожил пчелу своим жеребьячим потом, ставили у деревьев поодаль, там ждала его телега, увязшая в траве, как луноход в макрокосме.

Игорь помог поднести бидоны, размотал упряжь; старик остался доволен, хотя взоры кидал исподлобья, но это было врождённое и незлобивое.

— С таким ухажером тебе и коняка не нужен, сам на двух ногах повезёт, сильный, — хрипло пошутил, выпроваживая на село.

Ехали ходко, телега грохотала, как пустая жестянка, кинутая под откос; отвыкший от такой езды Игорь прислушивался, не оторвалось ли внутри.

Сидели спина к спине, Сима приваливалась тёплыми, будто лавашик, плечами, светло смеялась:

— Вот тебя моим конём назвали. И ухажером.

— А ты так хочешь ухажера?

— Как же тебя не хотеть.

Он пропустил это легкомысленное «тебя», да к ней и не липло. Отскакивало, как от дорогого мрамора либо от мягчайшей души.

— Неужто ребята не бегают?

— Бежали. Прошлым летом толпами на хутор шастали. Но дедушка вышел с ружьём и в воздух выстрелил: «Я вам покажу свежего огурца!»

Игорь засмеялся, коняшка азартно ёкнул селезёнкой, Сима откинулась и опять, словно мягкая игрушка, упала на Игоря.

— Ружьё у него отобрали, а мои ухажеры одумались, носа не кажут. А сама я в село на вечеринки не хожу.

Весёлые жёлто-серые глаза говорили, что Сима несколько не жалеет о таком положении дел.

Она была как этот месяц июнь, пышный даже в дождь и сиреневые холода. Когда едва приходит лето, погода не играет роли; так и Сима, она была в радость сама себе.

И ещё в радость всему окружающему: ромашкам, линючему преданному пёсику, и конечно же Игорю.

Они расстались, а наутро уже без всякого удивления почувствовали, что и за эту ночь, как и давеча, опять сделались ближе. Он глянул в сторону её домика и увидел Симу у плетня, легко машущую ему рукой.

Она была солнечным зайчиком, восклицательным знаком, сладкой изюминкой в рыхлой мякине двора и сада; она была ярким смыслом этого серого плетня, этих рыже-зелёных пригорков.

В тот день она купалась в ручье, а он её фотографировал, а потом до рассвета печатал и рассматривал мокрые карточки. Влажные бёдра Симы были изящны, круглы и даже на вид крепки, будто лесной орешек.

Она возбуждала желание и нежность — чувства почти противоположные, редко вместе адресуемые; адресуемые только к юности и только к чистоте.

— Ох, когда-нибудь прижму тебя сильно-сильно, — пошутил Игорь в тот день.

Застенчивый, инфантильный флегмач, часами бесцельно рассматривавший все подвернувшиеся ему букашки и бумажки, он всегда считал женщин чем-то вроде инопланетянок. Когда-то ещё мальчиком он жутко мучился от желания прикоснуться к руке молодой учительницы.

Рука была мягкая, белая, уверенная; Игорю хотелось узнать, отчего в ней такая сила и притягательность; он даже хныкал во сне от желания и страха.

Однажды, когда математичка во время урока наклонилась над ним, положив руку на парту, Игорь быстро и будто кнопочку нажал коричневую родинку, сидящую у учительницы на мизинце.

Учительница беззвучно, чтоб не слышал класс, засмеялась, потрепала Игорька по макушке; и этот жест он запомнил навсегда, потому

что то было первое косновение женское, а не материнское.

Делясь старше, Игорь всё чаще влюблялся в одноклассниц — влюблялся чувственно, не по-книжному.

Это были даже не чувства, а вспышки почти боли, чуть не судорог. Они быстро гасли, но вторились с новой силой и красками.

Он стоял в физкультурной шеренге позади девочки, благоговейно глядя на её красненький локоток с пупырышком.

И вдруг переставал всё слышать и протягивал руку и нежно проводил пальцами по этому локотку сверху вниз.

Девчонка оборачивалась, смотрела на постную рожицу Игоря, оскорблялась этой дурацкой деланностью, визгливо жаловалась. Учитель нервничал — он всегда, всю жизнь нервничал:

— Зачем ты ей гусеницу на локоть кинул, где этот червяк, вон его с урока!

И кончалось тем, что Игорь потом очень долго ненавидел и девочку, и себя. Но потом таинство косновений вновь мучило и тянуло его.

И сейчас, рассматривая снимок, Игорь уже знал, что прикоснётся к плечам и чистой спинке Симы; жажда этого знакомо жгла его — если её не утолить, она доведёт до крика, до иступления.

Она вдруг становится целью, смыслом твоей жизни; причиной твоего небытия. Коснуться, погладить — легко, нескромно, с благоговением... Ведь это просто и понятно, как вдох.

Его в самом деле понимали — и откликались.

— Конечно, ни одна женщина не даёт отклика с первого раза, зато со второго — почти каждая, — говорил умный подмосковный приятель Митя. — Те же редкие, кто этого не хочет, просто не доводят до второго раза.

И это были самые лучшие, самые прекрасные — либо наоборот, самые упёртые женщины; и у Игоря оставалось чувство вины перед ними.

Не хотелось, чтобы и с Симой так вышло.

Тем более, что тут юность, мотыльковый наив. Юность реактивна, она часто отвечает разрывом навсегда, или слепой, до белизны в глазах, ненавистью.

И прощай лето, хутор, прощай медовая пастораль.

И Игорь положил карточки подальше, на старый шкаф, где валялись полуистлевшие его детские тетрадки, дневнички, в которых аромат первых его чувств был густо присыпан житейской пылью.

А Сима выходила из ручья, махала рукой, светила на солнце, как росистая виноградинка.

Набрасывала невесомое платье, эту условную шторочку, эту ситцевую условность, и бежала к Игорю, улыбаясь, по-птичьи неразборчиво лопоча, встряхивая короткими брызжущимися волосами.

— Ну, когда ты меня прижмёшь сильно-сильно?

И Игорь встал навстречу, и обнял, и плотно вжал в себя; и почувствовал её всю, с головы до ног.

Даже сквозь ситчик её тело после купания было нежно-прохладным, как у царевны-лягушечки; и без единой косточки, лишь мягко хрустнули на спине два сахарных позвонка.

Объятие длилось мгновенье, затем Сима забилась в руках Игоря, на лице появилась гримаса смятения и почти злобы.

Игорь отпустил Симу, и она без слов, но с тем же выражением боли и разочарования метнулась вбок, в чащобу молодого осинника, и растворилась там; может, убегая, может, плача и проклиная.

«Ну вот, второго раза не будет, — подумал Игорь, бессильно опускаясь на траву. — Я оказался — как она говорила? — глазливым. Придётся извиняться и уезжать».

3.

Из-под камешка вылезла ящерица без хвоста. Она была юркой и в этой своей юркости неестественной, как шустрый грузовичок без кузова.

Зачем шустрить, когда такая потеря?

«Ничего, за лето новый хвост вырастишь», — мысленно сказал ящерице Игорь.

И в этот момент ему на плечи сзади упало живое и грузное. Это была Сима. Она была в состоянии весёлой ярости.

— Ага, значит меня цапать можно, а тебя нельзя? — кричала она, волтузясь и опрокидывая Игоря. — Нет же, получай и ты! Вот, вот!

И она беспорядочно щекотала Игоря, шлёпала и била, изображая борьбу. Это был чудесный ход

примирения, перевод в игру; в игре позволено всё и детворе, и танцорам, и купальщикам.

Лишь бы шумно, больше шаловливого крика, плеска, кутерьмы — то есть, непременно обозначения игры.

Сима играла перед самой собой, и ещё перед Игорем; это впрямь лучший выход, побег от растерянности и смятения, испытанного десять минут назад.

Это переход в иное качество, сладостное, сбивающее дыхание и вдруг позволяющее многое доселе запретное и, казалось, несбыточное.

Они барахтались; она нападала, он покорно загораживался; она упала грудью ему на лицо, он задохнулся от чистого запаха; она скатилась, в смехе обнажая зубки до алых дёсен, одёргивая на себе платьице и одновременно щипля ему бока и живот; потом вскочила и побежала прочь.

Он знал, что догонять нельзя, минутная воспалённая игра закончена.

Теперь Симе нужно быть одной и только одной; ей нужно унять счастливое сердце, разобраться, где девичья победа, а где преступление против девичества.

И ещё Игорь знал, что сегодня вечером они поцелуются; и что Сима это тоже знает и боится, но нипочём не откажется от этого.

Придёт сама, однако будет скованна, будет остерегаться какого-нибудь его неловкого, обидного, грубого жеста; нет, плохого Игорь не сделает.

Но и ничего не делать теперь нельзя, его вежливость покажется ей холодностью; всякая дисканция оскорбит.

Близилась мгновения волшебные и страшные, по сравнению с ними даже бег солнца по небу казался пустяком.

За любовными успехами Игорь никогда не гнался; он вообще имел тихий, какой-то спокойно-сумеречный нрав; ни компаний, ни дебатов не любил; вперёд не лез, за женское внимание с друзьями не соперничал.

— Как раз таким-то они проходу не дают, — предупреждал умный, хоть и неказистый Митя. — Такими-то мужиками им самая сладость покомандовать.

Да, безропотного Игоря умело влюбляли в себя, съедали без пауз, как шелкопряд съедает

тутовый лист; Игорь изрядно навидался женских превращений, от сытного любовного корма их коконы становились тверды и равнодушны.

Игорь скоро уже не устраивал дам сердца тем, что, видите ли, не бил и не таскал их за волосы; и потом, ведь вокруг открывалось столько жрачки, столько вкусного тутовника.

Все, все вылуплялись в бабочек и поспешно облетали самые пыльные кусты, и совали свои ажурные хоботки в самую грязь, и клали, клали яички на каждый подвернувшийся лист...

Сима пришла на закате, посмотрела ясно, сказала уже без игры, легко и ровно:

— Не хочу прятаться в темноте, хочу видеть тебя, твои глаза и губы.

Она подошла, тихо прижалась и, запрокинув матовое личико, стала рассматривать его брови, ресницы, зрачки. Он тоже смотрел и видел все её доверчивые конопушки.

— Погладь меня, — попросила Сима.

Игорь осторожно провёл напрягшейся ладонью по её тёплым плечам, шее и спине. Сима блаженно закрыла и открыла глаза.

— Господи ласковый, шкурка моя, кажется, так и бегаёт за твоей рукой.

Её слова были спокойны и необычны. Она не дрожала и не дёргалась, в ней не было ни жеманности, самого что ни есть в женщинах пошлого, ни того «дыхания» на грани истерики, со вздыманиями груди и онемелым, сцепив зубы, молчанием. Сима обнимала Игоря мягко и ловко, словно в тысячный раз.

— Ты когда-нибудь целовалась?

— Нет, что ты... Но представляла всю жизнь; наверное, как себя помню.

Он прижал губы сначала к её худенькой щеке, потом ко рту; рот пах клубникой. Косновение длилось секунду. Затем Сима отступила на полшага.

— Я представляла, что после этого с неба ударит барабан или грянут колокольцы, как в кино. А это ещё лучше, это можно делать тихо и долго, и никто не увидит, не слезит.

И она взяла обеими горячими ладонями Игоря за небритые скулы, притянула и стала целовать, целовать его, жадно и сбивая себе дыхание, словно пустынный бродяга, прильнувший наконец к роднику.

— Слушай, — слегка ошеломлённо сказал Игорь. — Мне чудится, что тебе не семнадцать, а тридцать семь.

— Я тебе старуха? — без обиды глянула она.

— Нет, мордашкой ты как вон та незабудка, вся изнутри сияешь. Ты словами и чувствами мудрая. А я себя вдруг щенком ощутил. Я не верю, что ты из этой дыры, этой дичи. Ты даже не с этой земли.

— Не знаю, — она пожала острыми плечиками. — Для меня земля сейчас сузилась до величины твоих губ. Я прикасалась только к губам бабушки. Они у неё были шершавые и твёрдые, как сухарик. А у тебя они так и плаваются. Тают, будто барбариска на солнце.

— Ребёнок, — мягко усмехнулся Игорь. — Никогда не говори с мужчинами вот так открыто. Не то погибнешь.

— А зачем они мне? — искренне удивилась она. — Мне тебя одного на всю жизнь хватит. Одного даже сегодняшнего вечера хватит.

Это было слишком безоглядно и уже слишком серьёзно, чтобы бездумно обниматься. Игорь отстранил её и с минуту смотрел Симе в глаза. В них не виделось путаницы и поволоки, в них были прозрачность и смысл.

— Давай слегка остынем, — сказал он. — Я ведь постарше и потому вроде за тебя в ответе.

— Ты боишься, что я себе потом жилку перекушу? — ответила она, медленно, лунатически глядя руку, отодвигающую её. — Ты хороший, иначе бы меня уже взял, и была бы беда. А ты не сделал ни одного неверного движенья.

«Ого, — подумал он. — Гибнуть будет не она, а все те, кого она захочет погубить... И, чего доброго, я рухну первым».

Они стояли посреди комнаты, пустой дом ровно заполнялся сумерками.

Шарпаные бревенчатые стены превратились в мерцающий, тёмно-бархатный, как в театре, занавес — и не ясно лишь, закончено действие или только начинается.

Они вышли на воздух, сели в пуховую траву одичавшего сада и долго смотрели на лиловое небо, поняв, что до расставанья далеко. Затем, когда совсем стемнело, опрокинулись и стали целоваться.

Роса пока не пала, или уже испарилась от их тел. Были прохладные одуванчики и льняные руки Симы; были её грудь, веки, шея, живот; к бёдрам он не касался, потому что Сима истово шептала:

— Не сегодня, только не сейчас; я не боюсь, но после этого ты меня не захочешь; мне говорили, так всегда бывает, когда не любишь; а ты меня не любишь — ты меня пока не любишь; но даже если и никогда не полюбишь, я твоя буду — только не сейчас, господи ласковый, давай не сегодня, дай мне напиток... нацеловаться... намечтаться; одну ночь, а завтра... завтра... Ты же видишь, я и так твоя...

И она клала его руки на свою слегка влажную горячую грудь, и вся вжималась в Игоря, и её юная, рвущаяся наружу плоть всю её сотрясала.

— Ладный, ладный мой, какой же ты, какая же я, так бы сейчас вся чулочком на тебя и наделась...

И Игорь чуть не кричал от тяжести, тоже по-звериному рвущейся из него, и было больно, сладко-больно, и не было конца этой пытке, и не было сил прервать её.

Он таки пересилил себя, хоть прекрасно знал, что не нужно слушать мольбы-лепетанья и принимать их в расчёт — это просто прощание с девичеством; так век от веку.

Игорь поднялся, Сима тоже благодарно подхватила, измятая и чудесная; звёзды — сияющие сосцы — кропили тонким светом.

Сима сказала счастливо:

— А вот и Кассиопея нам радуется. Видишь лодочку на севере? Я тебе все созвездия покажу, они все мои. В городе их не разглядишь, они ж ему не нужны. Они нужны только здесь, и только нам с тобой.

Звёзды упруго покачивались; а скорее всего, это голова у Игоря кружилась.

4.

Назавтра день был томный и терпкий. Чувались за горизонтом недалёкие ворчливые грозы.

Никитоня сидел у ворот и коряво читал жиденькую газетку:

— Кол-хоз «Заря» прополол...

Откинулся раздражённо:

— От брешут... Брешут и брешут!

— Чего там? — спросил подошедший Игорь, оглядывая не деда, а вросшие в дом мутноватые окна — не видно ли Симы.

— А? — вскинулся Никита. — А-а... Так вот — полют... И вот бумажку привезли тебе с почты...

Мятая, пахнувшая мышами бумажка была телеграммой. Подмосковный Митя что-то для Игоря нашёл и трубил срочный сбор. «Выезжай сразу».

Дёрнуло внутри нерадостно. Зачем столь скоро и зачем тотчас после такой цветной ночи... И Симы рядом нет — а впрочем, даже хорошо, что нет.

Отчаливать надо было прямо сейчас, потому что рабочий поезд ходил-ползал раз в сутки, пополудни. Игорь прикинул время. Час на сборы, два на путь к станции... Всё. Прощай, Сима. Даже не увидимся.

— Там в Кремле больше никто не сколел на тёплом блюёне? — между тем спросил пустоту Никита. — Пятилетка пышных похорон. Не в пользу им черепшинный блюёничек.

О, как неловко, как паскудно вышло. Бежать на пасеку просто нет времени. Да и зачем, это же для обоих встряска какая. Пришла б депеша раньше хоть на день, умчался бы вчера и не знал нынешней ночи...

А ведь это экспедиция, наверняка она, тон послания безоговорочный, так пишут перед спешным далёким отправлением, о каком давно мечтал Игорь, не верил, только мечтал.

Шансов не виделось никаких, шансом был только вот этот полудруг, полугеолог, случайно знающий, что Игорь умирает от нелюбимых, скучных, обывательских занятий.

Хотя чихать ему, что кто-то там умирает, просто этот кто-то дурью мается, в бабах не разберётся, угрюмый ветрогон, двух лет на одном месте прожить не может, дырчатое блеклое перекаати-поле — вот что такое Игорь по общему понятию.

Но может, там вдруг заболел самый последний землекоп и потребовалась подмена — Игорь согласен и землекопом. Главное, чтоб другой горизонт, иные закаты... может быть, такие, как здесь... нет-нет, другие, другие, ещё невиданные, с сиянием, пусть даже полярным.

Он будет копать и полярную мерзлоту, лишь бы отвлечься, забыться — хотя, если подумать,

то и забывать-то нечего, жизнь пока не жизнь, а лишь набросок.

Абрис, калька, черновик отношений.

Сейчас съехал из подмосковного Дмитрова, с хлебного оформительского места. Только лишь потому, что шеф хотел женить его на своей племяшке.

Главное, девчонка влюбилась честно, чисто и печально, но дядюшка ведь фарцовщик крупнокалиберный. Каждую графу его партбилета можно вот такими алмазами увешивать.

И ведь пошлаки все эти дизайнеры новообретённые: вот в его словах высокая материя, а вот и дерьмо в неё любовно завернуто; в два счёта испохабит он жизнь печальной племяннице.

Да Игоря же в том и обвинит: за то, что тот гадливого выражения лица при взгляде на дядюшку скрыть не умеет.

Вот Игорь и шагнул прочь. Дело простое. Ничто его не этой земле особенно не держит, и уж конечно, не прятанные алмазики шефовы.

Нет, лучше к бессмертным комарам и задумчивым лягушкам, бесцельно искать золотые кадры, любоваться ими и тут же выбрасывать, пускать их по ветру. Слоняться, слыть тунейдцем — слово, правда, грозное, милицейским сержантом-плоскостопом пахнет.

Да, в кармане у Игоря диплом худграфа и корочка фотохудожника, значит, вроде как на вольных хлебах, творец светлого будущего; калика переходной, там сельский клуб размаляет, там детсадик окантует.

И опять убежать? Нельзя, нет, нельзя. Но вдруг там ждёт какой-нибудь Алтай, съёмки, вдруг два месяца на дальнем меридиане, снящемся с детства?

«Ничего; если тревога ложная, сразу вернусь, она и опомниться не успеет».

Такая обманная мысль, такая целебная. И Игорь уже увидел себя поспешно бредущим с рюкзаком к селу. Хутор глядел в спину и никитониным скрипучим голосом-скрабом повторял свой насмешливый бред о черепаховом бульоне, сгубившем уже столько молодых по сравнению с Никитоней генсеков.

Тьфу, ещё об этом сумасшедшем думать...

Шла, кстати, середина восьмидесятых, разве я об этом не сказал?

Впрочем, про них сказать больше и нечего, дальше будет другое — ещё полповести впереди.

Хутор сверкнул и погас вдали, как последняя искра. Будто не было едва утретого уголка, дымком улетел из души. Стало в ней как прежде; стынь, молчанье.

Село увиделось пыльным, его люди были незнакомы и некрасивы.

Районная станция слабо смердела пустыми рельсами, а когда подошёл одинокий поездок, из всех кустов на него кинулись вислопалтые недоросли и полезли в покорно опущенные окна; в вагоне пахло затхлым, напаренным; разогретая толпа вмешала сюда свой свежий пот и свежие сумари с уже потёкшими банками.

Всё это пять часов, до самого областного вокзала, должно теперь бродить сараюшным духом сельских варев, ухачь под ногами под хряп и рывки сцепок; лето сразу обернулось душегубкой, жизнь превратилась в хрип.

Поезд шатнул вагоны — они пошли вбок-взад-вперёд, как истёртая гармонь — и поволок прочь, вгоняя в щели ветер, отчего-то тоже гнилой и силосный.

А может, ничего этого не было; просто Игоря грызла тоска.

Но он хорошо знал это чувство и знал, что оно сменчиво, как ночь и сумрак. Игорь знал, что сделал слегка пакостное и вроде пустяшное — словно не сводил ребёнка в обещанное кино.

Всё же у него была причина; у каждого взрослого есть эта подлая отговорка для мальчика — важнящая работа, мытьё полов, покорение космоса.

Поезд култыхался уже полчаса, уже раз остановился и впустил в окна ещё дюжину патлатых и поджарых, прыгающих через любые пороги и преграды, словно сибирский осётр перед икрометом; двери в тамбурах раскрывались через одну.

Колёса уже встучались в колею и тоска уже проходила, как зубной наркоз; но вдруг все загорелись, тыча чёрными ногтистыми пальцами в стекло.

Игорь тоже глянул — и обомлел: рядом с поездом во весь опор мчалась верхом на коняшке растрёпанная Сима.

Коняшка, промчавшийся уже вёрст тридцать, с мольбой косил глазом, чуя, что это, наверное, его последний бег; слеза и пена слетали с оскаленной плачущей морды.

А Сима отчаянно шарила взглядом по окнам; она не знала, в каком вагоне Игорь, и она мчалась и мчалась вперёд, к дымному, как горелая шина, тепловозу, к близящемуся полустанку, где лишь полустоянка, лишь минута; и что такое эта минута и зачем она?

Игорь кинулся головой в ржавый оконный проём и замахал: она увидела и покачнулась в седле.

Это было нереально и даже жестоко — ребёнок сам повёл взрослого негодника на сеанс.

Он ткнул его в его собственную мерзость, он ради этого загубил лучшую и самую дорогую свою игрушку, коня, и готов был на виду у всего поезда погубить и себя — а как иначе, а чего ты, негодяй, ждал?

Игорь выскочил в дырявый тамбур, рванул прищиленную гвоздём дверь.

Дверь подалась только с третьего рывка и только наполовину; полустанок уже наезжал; Игорь спрыгнул; Сима скатилась с коняшки, хотела бежать, но вместо этого села на траву.

Он поднял её, она не могла стоять и вновь садилась. Она не плакала, но открытые, неподвижные, как у оглушённой ярочки, глаза её ничего не видели.

— Ты забыл... — сказала она и вынула из-за отворота платья гнутый и растерзанный свой фотопортрет.

— Я напишу, я обязательно... — потеряно повторял он. — Извини, я не мог, не успевал...

— Ничего, тебе надо, я понимаю, — сказала она. — Только напиши, напиши.

Он неловко наклонился и неловко поцеловал её; сухие запёкшиеся губы не ответили, просто царапнулись, как у богомолки-пустынницы.

Поезд тронул, невесть откуда взявшаяся проводница верещала над сломанным тамбуром.

Игорь вскочил на скользкую подножку и оглянулся.

У коняшки ходили бока и тряслись ноги; Сима сидела на земле, уронив русую голову.

Что сказать про дальнейшее? Следующие двадцать лет были для всей страны чумны и горячны; а для Игоря они оказались невероятно серы; скучно описывать их и мне. Но придётся — страничек пять я на это ухлопаю.

Конечно же, подмосковный приятель не звал ни в какую экспедицию, а предлагал дело новое: копать по лесам дохлых немцев и снимать с них обляинявшие ордена.

С этим холерическим приятелем, Митей Хайским, Игорь раньше полгода вёл бюллетень геологии; Митя писал какие-то шальные отчёты и неостановимо, как заплутавший кузнечик, сетовал на жизнь.

Но беды крылись в самом Мите: он разбирался в бытие, зато был чудовищно бестолков в сочинительстве. И признавал это — каждую страничку переписывал по пять раз, со стонами, будто насильник-мазохист; на это уходили недели, а в итоге всё равно со страниц лезла ерунда на постном масле.

Когда их пути разошлись, Игорь всё же иногда переэванивался с Митей — он считал, что этому несчастливцу нужна моральная поддержка.

Митя встретил Игоря радушно, поселил в заранее приготовленной конурке и сказал, что её вполне можно потом выкупить, — Игорь слегка подивился этому, — в остальном угреватый Митя нисколько не изменился, плакал о том, что у него ничего не выходит, ни с женщинами, ни с делами.

По утрам он с детским удовольствием смотрел в телевизоре новомодную аэробику, восторгался танцующими там лягушистыми девчонками, а затем бежал на задымлённую машинами и озарённую демократией улицу и приносил оттуда кипу газет и полдня сидел, не в силах оторваться от этой шуршащей лузги, словно клубная молодайка от семечек.

Наконец кипа шлёпалась на стол, будто выпотрошенная щука, а Митя блаженно потирал свои коротенькие ручки:

— Ну, пресса стала! До корки читай — везде кайф.

О каком-то довоенном кремлёвце Бухарине Митя толковал, как о закадычном соседе-друзбане. Про какую-то КАС говорил, как о личной врагине.

Эта КАС оказалась «командно-административная система», и её полоскали даже строго партийные газеты, сами себя призывающие перестроиться, ускориться и что-то ещё.

Новые газеты выныривали, словно сурепка из-под земли; все кидались на их дурманный запах: там всё говорилось по-новому, там даже спекуляцию называли свободным кооперативным движением, спасающим всех.

Игоря тоже закрутило; немчурю искать он отказался, зато целый год возил Мите товары из столицы; у Мити был кооператорский киоск, полный чудесных, невиданных этикеток.

Киоски пухли; в больших пустых магазинных витринах, наоборот, стояли многоярусные пирамиды выцветших спичечных коробков, и только.

Митя ныл, что киоск скоро разгромят или сожгут, — и чуть не со слезами продал его; но взамен у Мити проклюнулись в пригороде целых три торговых точки, впрочем, об их судьбе приятель тоже постоянно хныкал.

Он был жухлый крутышка, природный жалобщик; всё валилось у него из рук, каждое дело получалось с третьего раза — однако каким-то сверхъестественным образом всё-таки получалось...

Он брался за странные, порой абсолютно безденежные вещи; например, тиснул призыв к знакомству «с целью женитьбы» — не от себя, а от убогого брата-инвалида.

И порывисто принимал звонки, и осторожно назначал встречи, и сам ходил смотреть этих несчастных бабёх, а потом горевал перед Игорем, какие же проныры хотят окрутить его брата.

Но он женил-таки его — на безропотной инвалидке, как раз такой, какую искал. И справил им свадьбицу, и дал пособьице...

Говорили, что одновременно он «кидает» напарников, объявляя своё дело порушенным, а себя оставшимся без копейки. Игорь не верил — Митя всегда виделся ему обнажённо-бесхитростным.

Вдруг возле Мити скворушками закружили женщины, он приводил их и к Игорю; не гордась, а опять же вопия, как много кушур на них изводит.

Чёрт возьми, деньги к Мите давно явились, явилась даже машина, раздолбанная, но вполне колёсная.

В те же времена явились народу продовольственные карточки, это было дико и неожиданно, как война.

К тому моменту Митя кинул и Игоря, то есть заявил о крахе своего бизнеса, зато конуру оставил Игорю в счёт неустойки.

Митя, конечно, никак не погорел, просто так ему было надо; Игорь не обижался: он не мог постичь ни Мити, ни нового жизнеустройства, ползущего по всему белу свету, широкого и зловеще-мраморного, словно градовая тучища.

Подступали девяностые годы, пути Игоря и Мити вновь разошлись. Игорь стал работать, как встарь, оформителем — и, как встарь, не слишком доходно.

Но тут его взяла под крыло одна из вёртких Митиных сподвижниц по имени Галя.

Была Галина, как и Митя, помешана на «Огоньке», а ещё на всяческих маршах протеста, пузырьчатых и длинных, словно пожарный шланг; называла себя неформалом, стояла в говорливых пикетах и жестоко гневалась на Игоря, что не ходит с ней клеить рисованные листовки; обожала Хасбулатова, а её домашний кот имел кличку Чаушеску.

Ещё была Галина истовой богомолкой, истовой до конвульсий. Игоря рассматривала как заблудшую душу, и твердила, что для истинных богомольцев Игорь очень ценен, поскольку если кто из них приведёт Игоря к богу, то этому приведшему на том свете уготовано, как приз, отпущение всех грехов.

К богу шли упругими толпами, а Игорь идти вот так сразу, в общем строю, не хотел, не умел. Галина целыми вечерами спорила с ним, надрывно внушала, умоляя подумать если не о себе, так о ней.

В постели Галя была напряжена, будто тяжелоатлет, и молчалива, будто фанатичка под пыткой инквизиции; ни на миг не открывала глаз и рта, держала выпяченные губы гузкой и лишь в конце изнеможенно стонала басом.

Её страсть к листовкам допекла Игоря, и он скоро остыл. Покинутая Галя не особо противилась, посчитав, что они просто не сошлись мировоззрением.

Вспоминал ли Игорь о Симе? Конечно, вспоминал. Иногда мучительно, иногда чисто. И всегда

с резко-горьким — вкуса полыни — чувством вины, искупать которую поздно, да и не нужно. Ведь он так и не написал Симе.

В первые месяцы он уверял себя, что напишет ей. Только не о чем было писать; не о том же, что он возит какие-то полосатые сумари с кооперативной требухой.

Да пусть был бы он хоть испытатель самолётов — нужно ли ей это? Она ждала слов любви; но именно их Игорь писать не мог, они были бы обманом.

Ведь всё быстро отодвинулось, как после курортного романа; у таких приключений продолжение всегда безжизненно.

Ни к чему разжигать её и себя; всё равно потухнет после пары-тройки писем.

А не потухнет, так ещё хуже: обернётся долгим мученьем — прежде всего для Симы; и это будет вдвойне нечестно со стороны Игоря.

Пусть всё быстрее уходит, решил Игорь. У него через полгода уже ушло; даже облик пустынного хутора стёрся, а взамен него, как на прочном старинном холсте, проступил облик прежний, давнишний, детский: с улицами, людьми и живыми домами.

Правда, Сима виделась там летняя, взрослая. Это было даже нелепо — нынешняя среди давно сгинувшего.

Но и не была она уже нынешней, годы слились в камнепад; небось, давно схоронила деда, и отучилась в институте, и вышла замуж, и родила, и, может, развелась, и села клушей в каком-то городишке, и читает «Огоньки», и, как и все, хлопочет с маркированными продуктами талонами — господи, семь лет уже минуло, потом десять, двенадцать... Игорь обрюзг, забыл всё, всё...

Даже на блекнущую, взявшуюся по углам желтизной фотокарточку не глядел; осталось в памяти лишь тёплое пятнышко, смешалось с другими, такими же быстрыми и случайными, и порой вытеснялось ими напрочь.

Так было, например, в чумовом девяносто первом, когда вслед за столицей весь подмосковный Дмитров вдруг забурился и пролился на площадь, будто кипящее молоко из кастрюльки.

В эти месяцы Игорь сам кипел, но совсем иным, вовсе не «гражданским» чувством; как

на гвоздь, напоролся он на нелепую, воровскую любовь к одной замуженной глупышке.

Она имела кукольный голосок и кукольную же цветную внешность, была мягка, податлива и изобретательна — у неё был ключик от подружкиной квартиры.

В этом душистом, порочной логовище Игорь с Катей проводили часы, по-чекистски рассчитанные до минуток. Кате нельзя было опаздывать домой, муж за ней давно и кровожадно следил.

Это придавало чувствам первобытную остроту; притом, после каждого свидания опьяневшая от удачи Катя норовила поцеловаться на улице, а также в сиреновой подворотне прямо напротив своей рыхлой многоэтажки.

А во время самих встреч эта куколка сперва ловко играла с Игорем, насмешливо жевала ему ухо, потом плавно доходила до рыданий и высоким детским голоском кричала:

— Я сейчас по стенкам буду бегать! Стой, от этого с ума сойти можно!

Игорь отвечал, что с ума сходят «не от этого, а без этого», и любовался Катей, этой дмитровской Барби, и ласково одевал её, молчащую, потухшую, но всё равно светящуюся тихим, ядерным каким-то светом, и понимал, что и сам как в лучевой болезни.

Он и вправду считал это вспышкой, обострением, которое плохо кончится; что это кончится быстро, он ясно осознавал, потому что ни он, ни она не называли свои отношения любовью, не строили никаких планов.

Она не хотела терять удобную зажиточную семью, а он видел, что при любом своём достатке не сможет надолго удержать её возле себя.

Хотя она была идеал не только внешне, но и нравом: все жизненные взгляды Игоря — совершенно непонятные ей — она принимала, как свои; никогда не спорила, не давила, была щедра, проста, во время прогулок не пропускала без угощения ни одной бродячей собаки и не боялась расквасить свои модельные сапожки в уличном снежно-песочном киселе.

Да, она была просто куколкой, маленькой, дорогой и редкой; подруга ей говорила:

— Ой, Кать, уменьшить бы тебя и подарить моей московской племяннице, ей и из Лондона таких игрушек не возят.

Кончилось внезапно, как жизнь алкаша под трамваем. Катя порвала с Игорем мгновенно и без объяснений, и на самом пике. После очередной встречи не звонила две недели, а когда он её сам отыскал по телефону, сказала всё тем же ангельским голосом, кротко, но очень коротко:

— Я не смогла дома скрыть своего счастливого лица...

А подруга назавтра добавила, что муж сделал своё дело; и больше тоже ничего не говорила — видно, Катя ей запретила.

Игорь сначала даже улыбнулся: рисковая и вообще-то безумная связь длилась больше года и завершилась довольно благополучно, без пошлых разборок.

Но потом он несколько раз плакал в своей тесной звукопроницаемой конурке — и поражался этому, и невероятно за это злился на себя.

И ещё года три сидела в его сердце горячая игла; и выскочила лишь тогда, когда Игорь случайно увидел Катю знакомо — то есть украдкой, но прямо на улице — целующейся с каким-то млеющим и ничего пока не подозревающим парнягой.

Игорь вторично улыбнулся и больше о Кате не думал.

6.

Страна между тем на форсаже летела к рынку, рубли сделались миллионами, а копейка умерла. Заводы тонули вместе с людьми; те из работяг, кто всплывал, ударились во всеобъемлющую перекупку, их теперь стали называть челноками. Стране стали нужны только лавочники, только одни они.

Игорь давно не хотел возить центнерные мешки с товарами. Он работал магазинным грузчиком, таскал ящики с бананами, с водкой «Распутин», и зарплату получал этой сладковатой водкой, и пил её прямо в горькой подсобке.

Водка и магазины с годами менялись, цвели витрины и бандитство. Американский Рокфеллер, сто лет наживавший свои золотые сундуки, пучил глаза на русских миллионщиков, в один-два года становящихся богаче его. Игорь пил.

— У меня средний уровень бедности, — ответил он во время переписи на вопрос обходчиков

о доходах. — Как и у всех приличных людей в сегодняшней России.

Однажды к нему явилась привычно встрёпанная Галина, вручила хрустящую тысячу долларов и сказала, что это гонорар за те три снимка, которые Игорь когда-то, ещё в девяносто третьем, сделал по её просьбе на мятежном столичном проспекте; их опубликовал какой-то заморский глянцевого журналище.

— Видишь, как бы ты мог жить, — с укором и с отголосками былой любви произнесла Галина. — Вся беда в том, что ты аполитичен.

Она была всё так же полна кинетической энергии и ревнивого подозрения к молящимся на перекрёстках. Обожала же она теперь думца Митрофанова.

Галина цепким взглядом медсестры осмотрела Игоря, отругала голосом беззлойной сиделки и затем отвезла к Мите.

Митя построил два семиэтажных жилых дома с фиолетовыми башенками, такие теперь в газетах и рекламах называли элитными. Он торопился, усадил Игоря в приземистую иномарку-танкетку и повёз к каким-то гаражам.

Там они часа два сидели в умеренно тёплой, пахнущей, будто птичьим пухом, машине и ждали хозяина этих полуста новых кирпичных клетей, да так и не дождались.

Митя был вдвое шире себя прежнего и, несмотря на бьющую даже из-под его ногтей роскошь, очень и очень горестен. Он жаловался, что здешний владелец есть иуда: три месяца скрывается от Мити, не желая отдавать гараж, обещанный в доплату за что-то — кажется, за квартиру в одном из Митиных домов.

Игорь не вслушивался; он думал о двадцати годах знакомства с Митей и о том, мог ли бы он, спившийся и принципиально обленившийся Игорь, добровольно поменяться судьбой вот с этим своим шикарным и болезненно-деятельным приятелем.

— Всё не так, всё дерьмо, продают страну, жизни нет, — жалко бубнил Митя и был очень, очень горестен.

— Выпьём, — предложил Игорь.

— Нет, я на кодировке, — ответил Митя.

— И в этом всё твоё счастье, — доброжелательно сказал Игорь.

И впервые за многие годы подумал, что вообще-то надо съездить на родину, в кудрявый хутор Савин, который наверняка стал уже полным пустырьём, но где исток его, Игоря, дней; и где, по логике, должны они, эти простые неприятельные дни, и закончиться.

Мысль была спокойной, будто про завтрак. О Симе он в этот момент не вспомнил. О ней он давно уже, честно говоря, позабыл.

Он так и поехал, не думая о ней.

Он вспомнил о Симе лишь когда шёл от неожиданно свеженькой, выкрашенной (железная дорога забогатела) станции к селу. Сбоку, далеко за неудобьями, увидел два больших копнистых дерева и свернул к ним, решив пройти к хутору, минуя село, прямо сквозь эти берёзы.

Июньское солнце клонилось к горизонту, и в памяти смутно всплыли давние слова Симы о том, что берёзы стоят на самом краю летнего заката.

Идти к ним было тяжело, через мохнатые буераки и сочное гречишное поле, непроходимое, словно топь.

Два раза Игорь в изнеможении просто ложился спиной в цветущую метровую гречиху, прохладные стебли со всех сторон нависали узкими высокими стенами.

И ему казалось, что он лежит в гробу, пахучем, медовом, из которого не вставать бы вовсе, а так и остаться бы здесь, со сбившимся, остывающим дыханием, с остывающим пульсом и давно остывшими желаниями.

Но он поднимался и шёл, крася колени и башмаки о густую гречишную оплётку, вымокнув досыта в зелёных соках — и дошёл наконец до угретых берёз, до самого перевала, за которым открылся хутор.

Солнце светило сзади, кинув тень Игоря, как длинную компасную стрелку, далеко вперёд, прямо к ручью.

Ручей темнел изгибами и зарослями. На вершине долгого родного косогора должен быть Савин, но его не было, а была сплошная линия сияющего на солнце молодого леса.

Игорь пожалел, что на ночь глядя забрался в это лешачье безлюдье.

Он стоял между раскидистых матёрых берёз, размышляя, как по гривке поля выйти обратно

на дорогу к селу. Ничего такого возвышенного не шевелилось ни в душе, ни в памяти. Хутора нет, хутор умер, — и что ж беспокоить его прах.

Но, словно протестуя, на той стороне откуда-то из-под сияющих деревьев явилась вдруг фигурка всадника. Она с натерпеливой осторожностью спустилась к ручью, а перейдя его, махнула в галоп, наверх, напрямиком к Игорю.

Он смотрел на приближающегося седока и уже что-то изумлённо осознал.

Метров за сто всадник спрыгнул с коня — и то был не просто конь, а тот самый, давний коняшка, седой, косматый и до сих пор живой; а седок обернулся женщиной, чужой, стремительной, чуть испуганной.

Оборая траву, будто илистое мелководье, она пробилась к Игорю и, не взглянув даже в глаза, опустила, как когда-то на полустанке, наземь — и обхватила ноги Игоря, и прижалась к ним загорелым лицом, и замерла.

И эта женщина была, конечно, Сима.

На одну лишь секунду удивился Игорь её морщинкам. Потом, сколько ни всматривался, Сима виделась такой, как прежде.

Да и не много легло тех лёгких морщин, только у маленького рта и ещё возле глаз. Они были вроде инкрустации. Любая женщина в свои тридцать пять красивей себя в шестнадцать. Ум в глазах явился — и свежесть осталась.

Сима чуть округлилась, в самый раз. А смотрела спокойно; без укора и ожиданья извинений, без печали.

— Ну, вот и жених мой верный, — певуче, в лад подлетевшей пичуге, сказала Сима, поднимаясь и припадая к его впалой груди.

Тут он вспомнил и её давнюю сказку о суженом, придушем именно сюда. О, как был глуп Игорь в эти мгновенья, как истерян...

— Так ты ждала меня... — промямлил жалко, будто пойманный.

Она взяла его за руку и повела. Синие незабудки ложились под ноги. Коняшка сухой тряпичной губой ткнул Игоря в плечо и побрёл следом.

Так они и шли по своим меркнувшим, расплывающимся теням — вниз, к прохладе ручья, потом вверх, к незнакомым роцам, вставшим вместо былых домов.

Дом оставался всего один, и в нём сидел бес- смертный Никитоня. Верней, пластался возле печки на лежанке. Взгляд его был почти бес- смыслен, однако для столетнего вполне пригож.

— Здравствуй, Никита Иванович, — сказал Игорь.

— Молодцы, Москва, — младенческим и отстранённым на век в сторону голоском отве- тил старик. — Молодцы, бога освободили.

Игорь сел напротив него, на табурет, что пред- ложила Сима.

— Сейчас будешь на Костопея глядеть? — ска- зал ей дед.

— Потом, когда смеркнет, — ответила она и объяснила Игорю: — Так он Кассиопею зовёт... Смотрел на неё?

— Да... — кивнул Игорь, с прохладным ужасом вспоминая о созвездии-лодочке, про которое он ни разу не подумал во все эти без малого двад- цать лет.

— Что Москва? — сказал дед.

— Торгует, — развёл руками Игорь. — Торгует и радуется.

Пролетела мошка, безвредная, почти своя.

— Подмогни Симке сыночку родить, — всё тем же безжизненно-ровным тоном сказал Никита. — Ни с кем не хочет еться.

— Ладно, лежи, — ласково оборвала Сима.

— Чего лежи, сама говоришь, село всё пере- дохло.

— Правда, что ли? — произнёс Игорь, больше лишь для того, чтобы просто сказать что-то.

— Правда, — ответила Сима. — Там двад- цать дворов осталось, как тут в Савине когда-то. Перепились, разъехались.

— А ты? — сказал он, вдруг начиная дрожать сердцем. — Ты так никуда и не уезжала?

— Ждала.

— Меня?

— И тебя, и смерти дедушкиной.

— Помрёшь тут, — отозвался Никита. — Три собаки издохли, а я никак, хуже псы. Будто в Москве.

— Что будто в Москве? — не понял Игорь.

— Да не слушай, — сказала ему Сима, поправ- ляя стариковскую подушку.

— Политику жрут и политикой ходят, вот что, — ещё непонятней объяснил Никита,

покойно сронив голову. — А родить она хочет, завтра поздно станет.

Сима опять взяла Игоря за руку и вывела.

Во дворе были улы с уснувшими до утра пчёлами.

— Мёдом живём, — сказала Сима. — Задаром почти скупают, зато сами приезжают, весь взя- ток берут. Фермерша я числюсь. Не имел таких?

— Никого я... — поспешил Игорь.

— Молчи, ладно.

Она была всё так же спокойна. Она была под стать всему этому бездонному летнему вечеру — тепла, уверена и добра.

— Разве я не понимаю, жалкий мой. Побило тебя, как гречку зазимком.

— Побило... — покорно согласился он. — Теперь я старик, тебе не гожусь. Никита всего-то вдвое меня старше.

Она засмеялась. У неё были золотые глаза.

— А помнишь, я на тебя чулочком надеться обещала?

— Ну да...

Он, конечно, не помнил.

— Двадцать лет, двадцать — и каждую ночь об этом думала. И только о тебе.

Игорь заплакал. Он стал скор на слёзы, он стал бабой. Его теперь порой прошибал даже старый мультик — спился Игорь, просто спился.

— Ничего, — она погладила его по щеке, рука была мягкой, материнской. — У нас впереди целое лето, медовое лето.

— Я рядом с тобой проживу, как Никита, — грустно и счастливо сказал он. — Ты от меня устанешь. Представляешь, пятьдесят лет старо- сти.

— Пятьдесят медовых лет.

Темнело. Соловей бил по воздуху шёлковым своим кнутом.

— Никогда не мог подумать, что кто-то умеет вот так ждать. И кого? Меня, подлеца.

— Ты хороший. Ты просто слабый. Но слабых любят вечно.

Она прижалась к нему. Её тело было, как и пре- жде, таким же горячим — и ещё волшебнo-сдоб- ным, и бесконечно, бесконечно родным.

— Пойдём к ручью. Я искупаюсь, а ты на меня посмотришь. Я всегда представляла, что ты на меня смотришь.

— Я тоже, если хочешь, окунусь.

— Не надо. Я помню тебя всего... А впрочем, давай.

Они вошли в дремлющий ручей; вода тихо заклокотала и согрела их до пояса. Сосущие невкусную водоросль пиявки ленточками скользнули вглубь; тёмные стрекозы со слабым рассыпчатым треском улетели вслепую искать другое ночевье.

— Ты великая женщина, — сказал, отчего-то заволновавшись, Игорь. — Ты словно из библии. Ты в моих глазах оправдала всех женщин. Хотя им и не нужно оправдываться передо мной. Я ничтожество, а вы... вы непостижимы.

— Оставь, — шепнула Сима. — Просто нам всем заповедано любить.

— А я никогда не умел этого. И не видел ни одного мужчину, умеющего любить по-настоящему. Ты всех нас уничтожила. Теперь я знаю, что именно женщина — высшее творение мира.

— Смешной мой философ, — обняла она его, и руки её сверкнули в полумраке, и вся она засветилась влажными искорками, отражениями негасимой июньской зари.

Её лицо и шея, волшебным образом облепленная длинными мокрыми волосами, пахли ручьём и любовью.

— Знаешь, я после тебя ни разу не фотографировалась, только на паспорт. Я сберегла твою увеличитель и ту первую плёнку. Наверное, для неё уже нет порошков и карточек, но, может, ты в городе как-то с неё что-нибудь отпечатаешь?

Он улыбнулся.

— Конечно. А вообще, я больше никуда не уеду. Ты моя русалка, и утащи меня в своё царство, навсегда утащи, я не буду сопротивляться.

Сима мягко потянула его, они упали и на целую минуту захлебнулись сладкой ручьевой водой.

Старый верный коняшка дружелюбно стоял над ними, и в его гриву тихо вплетались молодые звёзды.



Савенково, 2009 год. Фото Юрия Оноприенко